

ся даже еще категоричнее: «субъектом в приведенном предложении является *спортсмен*» (стр. 184).

С последним утверждением вряд ли можно согласиться, хотя аналогичная трактовка в книге некоторых других конструкций (*У меня есть деньги, С ним приключилась беда, У них родился сын* — стр. 64 и сл., 189) кажется более убедительной: дело в том, что для последних трех предложений любой иной порядок слов воспринимается как инверсия, тогда как в первом предложении наиболее «нейтральным», неинвертированным порядком слов был бы такой: *Он с детства занимается спортом*, т. е. с им. падежом на первом месте. Вероятно, нужно ограничивать не только функцию темы от функции субъекта, но также и словопорядковые формы выделения темы от словопорядковых форм выделения субъекта⁵.

Проблемы, по которым мы высказали здесь несогласие с автором, являются хотя и важными, но в рамках общей концепции книги все же частными. Следующее наше замечание носит скорее характер пожелания на будущее. В книге систематически осуществляется сопоставление фактов синтетической морфологии с фактами, типичными для языков аналитического строя. Но в этом сопоставлении одни и другие языки выступают не на равных правах: в центре внимания автора стоят синтетические (и прежде всего — флективные) языки, а языки аналитические фигурируют лишь как фон, как задний план. В результате таким образом направленного сопоставления у читателя может сложиться впечатление, будто в строе аналитических языков все или почти все является универсальным, а идиоэтнические черты

составляют исключительную принадлежность синтетического строя. Конечно, в действительности это не так, и автор подчеркивает, что как универсальные, так и идиоэтнические компоненты имеются в строе каждого языка. Ясно, что конкретное выявление идиоэтнических особенностей, типичных для аналитических языков, потребовало бы значительного увеличения объема книги, а также и несколько иной методики сопоставления. Такого рода исследование можно считать одной из будущих задач континентальной типологии.

Наконец, некоторые мелочи. В книге нет анализа категории глагольного вида, как и ряда других категорий глагола, и потому несколько неожиданно звучит утверждение автора, что «все попытки свести... конкретные функции форм совершенного вида к общей категории „совершенности“ окончились неудачей» (стр. 74). Представляется также, что критика «теории уровней» (стр. 98—100) должна была бы иметь более четкий адрес: по существу она направлена только против того варианта теории уровней, который развивался в 50-е годы американскими дескриптивистами, но не против других вариантов и уж никак не против концепций Бенвениста, более новой «стратификационной модели» Глисона и Лэма и других идей, признающих особую роль «промежуточных ярусов».

В заключение хочется подчеркнуть, что книга С. Д. Кацнельсона — незаурядное явление в жизни лингвистической науки, исследование, новаторское по своей основной направленности и чрезвычайно интересное по полученным выводам. В книгах такого рода кое-что (и даже, вероятно, многое) может показаться иному читателю не очень убедительным и, во всяком случае, непривычным, тем более, что и стиль изложения местами довольно труден, а иллюстративных примеров маловато. Но все здесь будит мысль, дает возможность увидеть языковые факты, пусть даже знакомые, под новым углом зрения, увидеть их как бы одновременно и в их неповторимом идиоэтническом своеобразии, и в их глубинных и универсальных общечеловеческих чертах.

Ю. С. Масляев

⁵ Кстати, нам кажется не совсем удачным и термин «позиционные функции», которым автор обозначает функцию субъекта и функцию прямого дополнения (как и функции соответствующих надежд в падежных языках). Этот термин сразу направляет мысль на линейную последовательность элементов (ср. «позиционные классы морфем» — по их месту относительно корня, «позиционное примыкание» и т. п.) или, что того хуже, на «обусловленность окружением» (ср. «позиционные чередования»).

«Гістарычная лексікалогія беларускай мовы». — Минск, «Навука і тэхніка», 1970. 339 стр.

«Гістарычная лексікалогія беларускай мовы» является «первой попыткой введения в научный обиход лексического материала картотеки словаря древнебелорусского языка» (стр. 8).

Во введении при кратком обозрении трудов из области белорусской исторической лексикологии А. И. Журавский показывает их роль в изучении развития лексики белорусского языка, но вместе с

тем отмечает, что в большинстве случаев эти исследования построены на материалах памятников, способ издания которых не может удовлетворить современного лингвиста. Кроме того, сочинения таких жанров, как светско-художественный, религиозный и научный, остались вне внимания издателей и по нынешний день хранятся в единственных рукописных экземплярах в архивах и книгохранилищах преимущественно за пределами Белоруссии.

Подготовка к составлению словаря древнебелорусского языка в значительной степени улучшила положение с комплектацией источников. Картотека словаря древнебелорусского языка, созданная в Институте языкознания АН БССР, послужила основой первого в белорусском языкознании специального исследования по истории словарного состава белорусского языка. На других материалах, как отмечено в предисловии, построены только те разделы, которые хронологически не совпадают со словарем. Правда, в монографии нигде не уточнены эти хронологические рамки.

В первом разделе («Древнерусская лексика как основа старобелорусской лексической системы») исследуется происхождение лексики и дается ее предметно-тематическая характеристика. Автор раздела А. М. Булыко показывает, что в составе древнерусской лексики значительный процент составляют общеславянские лексические элементы. Постепенное обогащение словарного состава древнерусского языка происходило главным образом за счет собственных внутренних ресурсов, путем развития значений и усложнения семантической структуры существующих слов, а также путем создания лексических единиц на базе общеславянского словарного материала с помощью новых словообразовательных средств. «Древнерусская лексическая система в свой наиболее зрелый период, накануне создания на ее основе лексических систем русской, украинской и белорусской народностей владела всеми важнейшими средствами, необходимыми для выражения основных понятий тогдашней действительности» (стр. 51).

К сожалению, полученная картина лексической системы древнерусского языка IX—XIV вв. оторвана от реальной почвы памятников древнерусской письменности. Только в редких случаях автор высказывается по поводу территориального распространения слов в этот период (например, при анализе лексики *мѣсто* — стр. 36). В разделе невольно повторен недостаток трудов о лексике древнерусского периода, базировавшихся только на «Материалах» И. И. Срезневского «без учета происхождения и территориальной принадлежности того или иного памятника, его жанра и стиля»¹.

¹ Н. Г. Михайловская, [рец. на кн.:] П. Ковалів, Лексичний фонд лі-

Автор раздела показывает наличие в древнерусском языке так называемых стилистических славянизмов. Под этим подразумеваются слова, которые имели в древнерусском языке свои фонетические соответствия — типа *врагъ/ворогъ, градъ/городъ, единъ/одинъ*, а также такие пары слов, как *лобзати/цѣловати, ланита/щека, чело/лобъ* и т. п. Согласно довольно распространенному мнению, автор приписывает такого типа дублетам четкое разграничение стилистической функции (стр. 17). Но если исходить из конкретного материала письменных памятников, вряд ли удастся провести столь четкое стилистическое разграничение. Вкладывал ли, например, подобное стилистическое содержание в слова *цѣловати* и *лобзати* автор Изборника 1076 г., когда писал: «Мошти стѣхъ съ вѣроу цѣлоуи»²; «Възъмѣши же блженѣѣ ѿеодора дѣтишѣ: на лоно своѣ. лобъза же»³. На размышления по этому поводу наталкивают и материалы такого нейтрального в стилистическом отношении жанра, как деловая письменность, где лексико-фонетические дублеты типа *градъ/городъ* довольно распространены, а их наличие обусловлено отнюдь не стилистическими причинами.

На современном этапе исследования восточнославянских языков все еще остается открытым сложный вопрос о том, «что нужно считать церковнославянизмами на всех уровнях языка и каков был их удельный вес в разные исторические эпохи как в отдельных жанрах письменности, так и в языке обиходном»⁴. И сегодня нельзя считать законченной дискуссию о генетических основах древнерусского письменного языка, нашедшую свое выражение в гипотезах С. П. Обнорского и А. А. Шахматова.

Замечания о роли греческих элементов в древнерусском языке сведены к довольно скупому (в пределах одного абзаца) перечню отдельных лексем (стр. 18—19). Правда, при этом отмечено, что список греческих слов можно расширить в несколько раз. Но роль греческого языка в истории восточнославянских языков определяется не только большим или меньшим количеством прямых лексических заимствований, но также заметным влиянием системного характера (посредством калек) на формирование словообразовательных моделей и на появление целого ряда фразеологизмов книжного происхождения. Освещение роли и места грецизмов в восточнославянских языках на протяжении

тературної мови київського періоду X—XIV ст., ВЯ, 1964, 4, стр. 142.

² «Изборник 1076 года», М., 1965, стр. 237.

³ Там же, стр. 481.

⁴ Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 639.

их истории важно для освещения истории связей цивилизации славян с цивилизациями других европейских народов.

В разделе о древнерусской лексике находим немало интересных замечаний о жизни слов, о причинах появления и исчезновения отдельных лексем, элементы анализа их полисемии и словообразовательных возможностей. Но такие наблюдения не всегда подтверждены конкретными свидетельствами источников и нередко вызывают сомнения. Например, на стр. 14 читаем о том, что из активного древнерусского словаря выпали отдельные слова, относящиеся к языческой религии (*вълхвъ*, *капище*), исчезли некоторые термины родства (*стрый*, *суй*). При этом не говорится, когда это произошло, на какой территории и в каких памятниках отражено. Но слово *вълхвъ* и производные (*вълхвованье*, *вълхвовати*) на почве украинского языка прослеживаются в памятниках вплоть до XVIII в.⁵, в русском языке производные от *вълхвъ* — *волшебник* и другие — живут и ныне. Так же неконкретно в отношении времени и пространства представлена и семантическая эволюция слова *понъти* (стр. 15) и других.

Следующие три раздела монографии «Собственно белорусская лексика» (В. В. Аниченко), «Займствованная лексика в старобелорусском языке» (А. И. Журавский) и «Тематическая характеристика старобелорусской лексики» (А. М. Булыко, А. И. Янович, З. К. Турцевич) — построены на материалах древнебелорусских письменных источников. Многие из них — это рукописи, начиная с конца XV и кончая второй половиной XVIII в. (1787). Список памятников разнообразен в жанровом отношении. Здесь представлены образцы актовой письменности, исторические трактаты, жития святых, учительные евангелия, первые художественные и научные произведения. В их числе имеется оригинальная и переводная литература, памятники, написанные книжным церковнославянским языком, как «Граматика словенска» Л. Зизания, и памятники, отражающие народный язык того времени. Что касается последних, то многие из них требуют особого подхода. Сюда относятся «Лексиконъ славенороский именъ толкование» П. Беринды (2-е изд., Кутейн, 1653), «Лексис Лаврентия Зизания» (Вильнюс, 1596), «Четья-Минея» 1489 г., которую исследователи считают первой попыткой обработки церковнославянского языка в народном украинском духе. Она составлена поповичем Берякою в Каменце на Украине⁶, позже переписана в Белоруссии, поэтому в ней,

кроме украинских, отражены также и некоторые черты белорусского языка⁷. Вследствие тесного переплетения истории двух братских народов эти памятники, отражая черты древнеукраинского языка, имеют в некоторой степени прямое отношение и к древнебелорусскому языку. В монографии, к сожалению, языковой специфике таких памятников не уделено должного внимания.

Выявление органической связи белорусской лексики с лексикой древнерусского периода развития восточнославянских языков продолжается во втором разделе и базируется здесь на выявлении различий между древнерусским языком-основой и собственно белорусским языком. Правда, о том, что автор подразумевает под собственно белорусской лексикой, говорится только вскользь в конце раздела, когда речь идет о словах, общих для белорусского и польского языков. Значительная часть таких слов, по мнению автора, может быть отнесена к собственно белорусской лексике хотя бы на том основании, «что они в давние времена существовали в белорусском языке и без существенных структурных и семантических изменений сохранились в нем вплоть до нынешнего времени» (стр. 73). Это было бы вполне убедительно, если бы можно было более точно хронологически определить «давние времена».

Автор пытается разграничить собственно белорусскую и древнерусскую лексику на основании целого ряда фонетических и словообразовательных особенностей. Но некоторые из черт, характеризующих, по мнению автора, только собственно белорусскую лексику (по сравнению с древнерусской), являются характерными и для украинского языка. Примером может послужить замена *е* на *у* перед согласными в начале слова. Автор считает ее характерной чертой древнебелорусского языка (стр. 54) и документально ее древнебелорусскими памятниками XIV в. Но это явление не менее характерно и для древнеукраинских памятников того же времени. Более того, Ф. П. Филин считает, что исходя из наличия или отсутствия взаимных замен *е/у* в упомянутой позиции, древнерусская письменность уже в XI—XIII вв. разделяется на две большие области: юг, запад, север, северо-запад (наличие *е/у*) и ростоно-владимирский северо-восток (отсутствие *е/у*)⁸.

Более выразительной фонетической чертой собственно белорусского языка из перечисленных в разделе могло бы послужить наличие приставных гласных и согласных звуков (протез), если бы автор показал их дифференцированно, с учетом позиционных особенностей.

⁵ «Історичний словник українського языка», I, А—Ж, під ред. Е. Тимченка, Харків — Київ, 1932, стр. 303.

⁶ См.: П. П. Л ю б, Історія української літературної мови, Київ, 1971, стр. 151.

⁷ См.: «Курс історії української літературної мови», I, Київ, 1958, стр. 61—62.

⁸ Ф. П. Ф и л и н, указ. соч., стр. 293.

Наиболее полно охарактеризована собственно белорусская лексика с точки зрения словообразования. Определяющим фактором обоснованию считается не только наличие или отсутствие словообразовательной единицы, но также частота ее употребления и продуктивность. Оторванный от памятников перечень слов (стр. 56—66) хорошо отражает качественную сторону явления, но ничего не говорит о времени и среде его возникновения и распространения. Этот аспект появляется в поле зрения исследователя только при анализе семантических изменений слов на почве древнебелорусского языка. Ссылки на памятники письменности датируют эти явления, начиная преимущественно с XVI—XVII вв. (стр. 68—79). Самым ранним упомянутым памятником является «Четья» (1489), использованная автором для иллюстрации слов *жыць* в значении «часть тела» и *годовати* в значении «кормить, питать». Неудивительно, что именно этот памятник послужил для документации названных слов, ибо они так же характерны для украинского языка, как и для белорусского. В так называемых молдавских грамотах, составленных на староукраинском языке, находим еще более раннюю фиксацию упомянутого значения *годовати* в лексемах *годовати сь* (1453), *годовуля* (1472). Это слово засвидетельствовано также и в волинской грамоте, написанной в Кобрине в 1454 г. («дѣти маеть ходовати») ⁹.

Вопросам взаимосвязей белорусского, украинского и польского языков на лексическом уровне не уделено должного внимания. В частности, это относится к проблеме разграничения лексики старобелорусского и староукраинского языков, засвидетельствованных в общих письменных памятниках, отличающихся высокой степенью стандартизации — памятниках официального делового языка Литовско-Русского государства XIV—XV вв. Критериям выделения специфически белорусских, специфически украинских и общих для обоих языков особенностей так называемого западнорусского языка, противопоставлявшегося церковнославянскому, однако сохранявшего, подобно ему, хотя и в меньшей степени, «наддиалектный», обобщенно-литературный характер, посвящена обширная научная литература. Некоторые из предложенных критериев принимаются не всеми исследователями ¹⁰, и, поэтому более четкая позиция автора в

этом вопросе была бы весьма желательной.

Прямые и косвенные языковые контакты, оставившие в белорусском языке на протяжении столетий заметный след в виде иноязычных лексических заимствований, являются предметом наблюдений автора раздела «Заимствованная лексика в старобелорусском языке». Здесь идет речь о полонизмах, латинизмах, германизмах, грецизмах, церковнославянизмах, тюркизмах, литуанизмах.

Раздел о лексических заимствованиях не является голым перечнем тех или иных иноязычных лексем. Он содержит целый ряд обобщений относительно их количественной характеристики, хронологии, путей и способов проникновения в белорусский язык, их лексико-семантической характеристики, словообразовательных способностей и некоторых других моментов. Касаясь общей природы заимствований, А. И. Журавский придерживается мнения, что они отражают не период упадка, а, наоборот, являются показателем приспособления языка к новой обстановке, вызванной хозяйственным, политическим и культурным подъемом (стр. 83). Такое утверждение, быть может, в общих чертах и правильное, требует осторожного и дифференцированного подхода к оценке явления в историческом плане. Дискуссионным кажется и вопрос о соотношении числа заимствований в памятниках разных жанров (стр. 82).

Если раздел о заимствованиях отличается почти исчерпывающей полнотой охвата материала и многоаспектностью его рассмотрения, то раздел «Тематическая характеристика старобелорусской лексики» весьма фрагментарен. Здесь представлены лишь некоторые тематические пласты лексики: общественно-политическая лексика (А. М. Булько), торговая, военная (А. И. Янович), научно-книжная (З. К. Турцевич). Правда, в этих подразделах рассматриваются и некоторые группы слов, относящиеся к сопредельным сферам употребления (слова, отражающие иерархическую политико-экономическую и правовую структуру общества, названия различных типов собственности, названия пошлин, повинностей, штрафов, некоторых юридических учреждений и инстанций — в разделе «Общественно-политическая лексика», названия многих метрических мер — в разделе «Торговая лексика» и под.). Это частично восполняет пробелы в тематической характеристике старобелорусской лексики, но не компенсирует их. Трудно согласиться с высказанным в работе утверждением, что ряды лексики, восходящие к глубокой старине и мало изменившиеся в ходе истории, представляют для исследователей меньший интерес (стр. 8). Как видно из работ белорусских же диалектологов, углубленное изучение именно «исконных» пластов лексики (земледельческой, быто-

⁹ Цит. по картотеке Словаря староукраинского языка, находящейся в отделе языкознания Института общественных наук АН УССР во Львове.

¹⁰ Ср.: Ё. В. Анічэнка, Беларуская-українська письмовомовна сувязь, Минск, 1969; рец. А. Бурыча и В. Русаниского см.: «Мовознавство», 1971, 1.

вой, терминологии народных промыслов), реконструкция семантических сдвигов в них дает интереснейший материал именно для восстановления многих этапов истории языка и его носителей¹¹.

В тех случаях, когда сфера применения тематически близких слов определяет их стилистическую тональность, привлечение «сопредельных» групп лексики требует особой щепетильности характеристик. Трудно согласиться с тем, что в разделе «Научно-книжная лексика» рассматриваются и, главное, квалифицируются как научные и книжные термины слова, характерные для сферы производственно-бытовой, в лучшем случае — для сферы глубоко практического применения знаний, ремесла (*старший тесля, бурса, масть и под.*). Вряд ли можно старобелорусское *учень* считать в такой же мере термином, как *школяръ, студей, студентъ*, если оно иллюстрируется контекстами об «учнях Христа» (т. е. последователях его учения) и об «учне-кравчике» (т. е. подмастерье портного, практиканте-ремесленнике) (стр. 224). Как абсолютные — семантические и стилистические — синонимы рассматриваются и слова *лекаръ, врачъ, барберъ, цируликъ, докторъ* (стр. 217—219), но этого не подтверждают иллюстрации («болезнь застарялая служит врачеву, а новую немощь укротит лекаръ», стр. 219).

Во многих случаях прослеживается происхождение слова, пути его распространения, семантические приращения, синонимические и другие системные отношения с другими словами и группами слов. Особенно много ценных наблюдений такого характера имеется в главе «Общественно-политическая лексика». Жаль только, что из-за недостатка места в качестве иллюстраций, за редкими исключениями, приводятся отдельно взятые слова, без контекста и документации, могущих предоставить дополнительную информацию о сфере употребления, лексической сочетаемости, семантических и стилистических оттенках слова. Даже sporadические указания на хронологию и географию бытования отдельных слов весьма расширяют представление о старобелорусской лексике как о динамичной, развивающейся системе. Но о периодизации истории белорусской лексики и о хронологических границах старобелорусского языка в монографии говорится лишь вскользь.

В книге есть еще разделы «Развитие лексической системы белорусского языка в XIX — начале XX ст.» (И. И. Крамко) и «Изменения лексики белорусского языка

в советский период» (А. Я. Ваханьков), а также глава «Белорусская фразеология» (А. С. Аксамитов), представляющая собою как бы монографию в монографии — и не только в композиционном отношении, но и потому, что в ней используются наравне с «традиционными» методами и методы структурно-типологические. Оправданно внимание авторов к особенностям преемственности лексического состава старого и нового белорусского литературного языка, обусловленным социально-экономическими и политическими причинами, которые привели к двухвековому перерыву в функционировании письменного белорусского языка. Среди этих особенностей выделены: утрата значительной части лексики, в частности книжной, многих слов с абстрактными и отвлеченными значениями, лексики, связанной со сферами официальной деятельности; бытование сохранившихся заимствований в устной диалектной среде; повторные заимствования из русского и польского языков и др. Здесь более, чем в предыдущей части монографии, ощущается потребность в характеристике лексической системы не только в плане сферы ее практического применения, но и в плане принадлежности к тем или иным функциональным стилям.

Весьма убедительны и аргументированы наблюдения над различными типами взаимодействия лексики равноправных языков народов Советского Союза — близкородственных и относящихся к разным языковым семьям (стр. 278—279). Интересно рассмотрение изменений в топонимической номенклатуре, вызванных новыми социальными условиями (стр. 284).

Коллективный труд белорусских ученых имеет важное значение не только для белорусского языкознания. Выход в свет «Гістарычнай лексікалогіі беларускай мовы» следует расценивать как обнадеживающее начало в серии обобщающих и специальных исследований по исторической лексикологии восточнославянских языков. Наблюдения и размышления авторов рецензируемой работы представляют несомненный интерес и для исследователей истории других славянских языков и будут способствовать более углубленной научной разработке многих вопросов, в первую очередь — выявлению общих и специфических черт близкородственных восточнославянских языков на определенных синхронных срезах. Работа белорусских языковедов является как бы развернутым приглашением к активному обмену мнениями и выработке общей точки зрения, соответствующей новому этапу развития лексикологических исследований, впервые базирующихся на огромном документальном материале картотек исторических словарей русского, белорусского и украинского языков.

У. Я. Едлинская, В. Л. Карпова

¹¹ Ср.: «Лексика Палесся у прасторы і часе», Минск, 1971; «Лексика Полесья», М., 1968; П. У. Стэцко, Прадметно-бытавая лексіка зэльвенскіх гаворак, Минск, 1962; І. М. Шарбакова, Прадметная сельска-гаспадарская лексіка мінска-маладзечанскіх гаворак, «Вопросы литературы и языка», Минск, 1968.